

Д м и т р и й   а к с е л ь р о д

НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ

/Главы из романа/

## I

Когда началась война, я, как сумасшедший, помчался в военкомат, записываться добровольцем, но получил отказ — мне было всего шестнадцать лет. Однако, я продолжал надоедать, лез все время с заявлениями, пока не вышел из терпения сам военком, он пригрозил милицией.

Скоро, впрочем, мое желание осуществилось, — я получил год за мальчишескую шалость — в то время не церемонились, — отсидел три месяца и меня призвали в армию прямо из лагеря.

Радовался я чрезвычайно, и не только потому, что выходил на свободу, — я бредил подвигами, сражениями, как и полагается мальчишке.

Нас повезли в Вологду и определили в школу младших командиров. Но мы так и не получили лычек, фронту требовались бойцы, и из курсантов срочно сформировали маршевую роту. Поместили в специальном бараке.

Я был в роте единственным евреем и стал объектом насмешек.

Но на травлю у меня всегда был один ответ — кулак. Так и здесь в маршевом бараке. А надо сказать, что драчун я был преискусный, дрался всегда с огромным наслаждением и азартом. Меня обычно стравливали с кем попало, кому только было не лень. Стоило показать на мальчишку пальцем и сказать, что он готов со мной сразиться, и я тут же, ни слова не говоря, засучивал рукава, хотя бы этот мальчишка и вдвое превосходил меня силой.

Однажды наше маршевое подразделение маршировало по казар-

менному двору. Не помню откуда и куда, то ли из казармы в столовую, то ли из столовой в казарму. Маршевилов, слава богу, на ученья не гоняли, только перед фронтом и ~~мог~~ солдатик отдохнуть.

Я шел в последнем ряду. Вдруг слышу, идущий сзади шипит — жид. Именно шипит, злобно так, по-змеиному — жжид. Оборачиваюсь и бью наотмашь. Тот падает и ломает строй. Командир командует: — Взвод, стой! Спрашивает — Кто дрался? Выхожу и докладываю. За что? Так и так.

— Становись в строй. Взвод, шагом марш!

Этот командир взвода, младший лейтенант, после этого случая проникся ко мне симпатией. Он сопровождал нас на фронт. Скоро мы отправились, погрузившись в "телятники". Командир со мной подружился. Мы называли друг друга по имени, ели из одного котелка. Звали его Володя.

Такое уважение ко мне командира, русского, озадачивало и оскорбляло остальных, многие из которых еще вчера набрасывались на меня с кулаками. Излишне говорить, что я отвечал Володе самой пылкой взаимностью, хотя старался не показывать этого. Он мне очень нравился. Лицо у него было резкое, волевое. Мое же лицо — круглое, бесформенное, было каким-то удручающе благодушным и мальчишеским, сколько бы не напускал я на себя хмурой мужественности. Володя был несловоохотлив и большей частью мрачен. Видимо, фронт оставил в нем самые тяжелые воспоминания. На мои жадные расспросы он или отмалчивался, или отвечал едкими насмешками, обзывал меня дураком и сопливым мальчишкой. Такое отношение к фронту было неприятно мне и колебало уважение к другу-командиру. Очень уж не гармонировала

менному двору. Не помню откуда и куда, то ли из казармы в столовую, то ли из столовой в казарму. Маршевилов, слава богу, на ученья не гоняли, только перед фронтом и ~~мог~~ солдатик отдохнуть.

Я шел в последнем ряду. Вдруг слышу, идущий сзади шипит — жид. Именно шипит, злобно так, по-змеиному — жжид. Оборачиваюсь и бью наотмашь. Тот падает и ломает строй. Командир командует: — Взвод, стой! Спрашивает — Кто дрался? Выхожу и докладываю. За что? Так и так.

— Становись в строй. Взвод, шагом марш!

Этот командир взвода, младший лейтенант, после этого случая проникся ко мне симпатией. Он сопровождал нас на фронт. Скоро мы отправились, погрузившись в "телятники". Командир со мной подружился. Мы называли друг друга по имени, ели из одного котелка. Звали его Володя.

Такое уважение ко мне командира, русского, озадачивало и оскорбляло остальных, многие из которых еще вчера набрасывались на меня с кулаками. Излишне говорить, что я отвечал Володе самой пылкой взаимностью, хотя старался не показывать этого. Он мне очень нравился. Лицо у него было резкое, волевое. Мое же лицо — круглое, бесформенное, было каким-то удручающе благодушным и мальчишеским, сколько бы не напускал я на себя хмурой мужественности. Володя был несловоохотлив и большей частью мрачен. Видимо, фронт оставил в нем самые тяжелые воспоминания. На мои жадные расспросы он или отмалчивался, или отвечал едкими насмешками, обзывал меня дураком и сопливым мальчишкой. Такое отношение к фронту было неприятно мне и колебало уважение к другу-командиру. Очень уж не гармонировала

его мужественность с подобными настроениями.

После нескольких дней пути мы прибыли на станцию Бологое. Собственно, никакой станции не было, ни единого строения, все сожжено дотла. Только черные рельсы среди белых снегов и на рельсах несколько товарных составов. Приказали сгружаться и повели к черневшему вдаль лесу. С Володей предстояло расставание. Сдав нас, он должен был возвратиться в свою боевую часть. Мы шли рядом. Он давал мне последние наставления, учил, как беречься в бою. Я шел радостный и невнимательный, мне уже порядком надоели его поучения. В лесу стояли большие бараки-шалаша — это было нечто вроде фронтовой пересылки, здесь мы с Володей простились. Жизнь в этих шалашах не отличалась комфортом. Сделаны они были из тонких, корявых лесин, ветер продувал их насквозь. Печки отсутствовали и мы разжигали костры прямо на полу, вернее, на земле. Тепла от них было мало, зато дымили они ужасно /дрова были осиновые, сырые/, дым немилосердно ел глаза и закопчены все были, как трубочисты.

Нары были сделаны из тех же горбылей, с кое-как обрубленными сучками, которые преобильно впивались в бока. Солдатики мерзли, ходили скрючившись. Кормежка была скудная, кухонь не было и, следовательно, горячей пищи нам не выпадало, давали по два ржаных квадратных сухаря в день.

Целую неделю мы бездельничали — никаких занятий, никаких учений, даже командиров никаких. Но вот наконец всех выстроили в длинную, далеко растянувшуюся шеренгу, и появилось какое-то начальство. По шеренге прошел слух, что командир взвода разведки набирает добровольцев. Я напрягся, дух мой замер. — Вот она, решительная минута! Разведка — самое опасное воинское по-

прище, открывающее самые большие возможности для подвига. Я давно мечтал попасть именно в разведку. В самом начале войны прославился некто Валерий Стрекалов. Он был из Сыктывкара. Осенней ночью он проник к немцам и добыл важные сведения. Я помню, как встречал его город, когда он приехал в отпуск, полагающийся Герою Советского Союза. И я мечтал, подобно ему, пойти в разведку и совершить свой подвиг.

И вот она, эта возможность! Я распрямил плечи, браво выпятил грудь и, застав дыхание, ждал приближения командира разведки. "Только бы взял!" — думал я, боясь за свою худобу. Когда он приблизился, сердце забилося еще сильнее. Командир разведки был прямо картинка — образец воина — высокий, стройный, в крест-накрест перепоясанной шинели, с орлиным взором и лихими усами.

Когда он подошел и спросил, не желаю ли я пойти в разведку, я, вытянувшись по швам, не ответил — выдохнул: желаю! Командир, старший лейтенант по званию, вскинул брови и записал мою фамилию.

На следующий день я был зачислен в полковую разведку.

Прошло несколько дней, и мы отправились в поход. Только вышли, повалил густой снег, поднялась метель. Шли полями, лесами, широкими шляхами и узкими тропинками форсированным маршем. В полях дули нудные, пронизывающие, тоскливо воющие ветры, в лесах стояла тишина и мрак. Идти было трудно, мы были мальчишками, только что оторванными от маминых юбок, незакаленными, слабыми от недоедания, плохо одетыми и обутыми. Нам выдали ветхие бурные шинели, латанные-перелатанные гимнастерки с кое-как застиранными пятнами крови, подшитые старые валенки. Уже через



день-два драгва на них перетерлась и подшивка отлетела, так что ступали ногами, обернутыми в портянки.

Погода, между тем, резко менялась. Ударяли морозы, им на смену приходили оттепели, потом крутили метели и снова ударяли морозы. Бывало, в оттепель ноги промерзнут насквозь, а потом ударит морозец, и стучим по гололеду, как колодками — стук-перестук заледевшей обувкой.

Солдатики плакали, падали в изнеможении, а командиры гнали вперед, поднимая упавших угрозами, пинками, стрельбой из пистолетов.

По широким дорогам наловчились спать на ходу, сцепившись по несколько человек, поддерживая друг друга, шли, шатаясь из стороны в сторону. И как только раздавался свисток, возвещающий десятиминутный привал, падали как мертвые. Большие привалы с ночлегами делали раз в трое-четверо суток. Во время таких привалов кормили горячим, в остальные дни довольствовались теми же двумя сухарями, да щепоткой сахарного песку.

Однажды, на виду остальных бойцов казнили "самострела". Ночью он поранил себе ногу выстрелом из винтовки, а утром его расстреляли. Зачитали приказ хмуро и равнодушно слушавшим бойцам, дали залп и черная фигурка опрокинулась в снег и растаяла, а мальчишки-бойцы, шатаясь и хромая, ушли в неприятную, плачущую ветрами степь.

Увы, я оказался не на высоте. У меня не хватало сил идти вровень со взводом, я отставал и догонял своих только на привалах. Во время маршей у меня шла носом кровь, а ноги были стерты до мяса. Я делал поистине героические усилия и все-таки не мог быть образцовым солдатом...

Так мы шли много дней и ночей, минуя бесчисленные деревни, вернее, то, что от них осталось — головешки сгоревших изб, да торчащие остовы печей. Прошли города Селижарово, Осташков, Торопец, потом, минуя Великие Луки и Холм, повернули ко Ржеву, потом снова куда-то повернули и приблизились, наконец, к фронту.

Стала слышна далекая кононада. Тут темп марша ослабел, сами командиры брели уже из последних сил. Дорога давно кончилась, даже тропки путевой не было, шли след в след, проваливаясь в рыхлом снегу. Я отстал, но теперь уже не стыдился — отупел. Когда ослабевает пружина мобилизованности, боль и усталость ощущаются гораздо сильнее. И тут в первый раз за много дней я смог поднять голову и оглядеться. И окружающий пейзаж показался мне таким прекрасным, таким нежным, до сих пор я его помню до мельчайших подробностей.

Своих догнал уже в селе, где был дан долгожданный отдых. Мы спали чуть ли не по двое суток подряд. Фронт был близко. Все время ухало, бухало и мелким пересыпом звенели в оконцах стекла, будто топали где-то за стеной лихие гуляки.

Отоспавшись, стали приводить в порядок одежду, подшивать валенки, чистить и смазывать оружие. Потом пришел политрук, поагитировал как полагалось, сказал, что мы принадлежим к 150-ой дивизии добровольцев-сибиряков, большая часть которых погибла со славой и которых мы должны быть достойны. Мы заверили хором, что будем достойны, после чего политрук стал принимать в комсомол.

Ночью взвод подняли по тревоге и мы отправились на свое первое задание. Опять шел снег, было тихо и безветренно. В ночной темноте снег был невидим, только ощущался — мягко таял на



губах, проникал за ворот шинели, щекотал нос и щеки.

Миновали лес, потом вышли в поле. Фронт приближался. Все сильнее ухало, а вскоре стала слышна дробь пулеметов и какая-то странная кузнечная стукотня, будто делали свою работу невидимые Вулканы. Потом стукотня и уханье стали ослабевать, перемещаться куда-то влево.

Было строго-настрого запрещено курить и разговаривать. Ординарец командира по фамилии Хорошилов обегал взвод и шепотом передавал распоряжения.

Снова вступили в лес и шли между деревьями долго, пока не стало рассветать. И вдруг лес огласился адским грохотом и треском. Прямо на нас летели россыпи трассирующих пуль, будто кто-то швырялся пригоршнями ярких огней. Мы стали ~~ожидать~~ отвечать огнем своих автоматов. Пробежал Хорошилов с криком: "Отходить, отходить, засада, немцы!".

Я никого не видел, отступал медленно, паля короткими очередями, Хорошилов снова метнулся, теперь уже впереди. Я решил не отходить, пока не увижу, как отходят командир и Хорошилов. Продолжая стрелять, двинулся вперед. Наткнулся на труп и острый испуг кольнул грудь. А вообще я не боялся, даже этаким восторг чувствовал. Перестрелка в лесу казалась фантастической игрой с фейрверком и бенгальскими огнями.

Снова наткнулся на тело и снова почувствовал ужас. Стал вглядываться. Передо мной лежал командир. Не лежал, а получил, прислонившись к дереву и вытянув ноги. Глаза его остро, цепко глядели на меня.

— Вы ранены, товарищ старший лейтенант? — спросил я испуганно, наклоняясь к нему. Он молча кивнул /было уже довольно светло/, и я увидел, что шинель на животе у него разодрана и окровавлена.

— Давайте перевяжу вас, — предложил я, доставая из перевязочной сумки пакет. Он отрицательно затряс головой и заскрипел зубами.

— Тогда разрешите я понесу вас. Я поволок его по снегу. Вскоре появился Хорошилов и мы стали тащить вдвоем. Потом появились еще бойцы, сменили нас. Кроме командира, несли еще раненого бойца. Разрывная пуля разворотила ему бедро, сквозь разодранные в клочья штаны виднелась розовая кость.

## 2

Наш разведвзвод распустили и вместе с двумястами других бойцов из славной Сибирской дивизии передали в распоряжение обыкновенной стрелковой бригады. Принимал нас низкорослый капитан. Он стоял, расставив ноги, заложив большие пальцы рук за низко перепоясывающий его ремень, глядя на нас несколько иронически. Что говорить, кадры были "боевые"! Измученные, голодные мальчики с грязными, осунувшимися, заплаканными лицами. Было среди нас много нацменов, "елдашей", как их называли. Вид у них был особенно плачевный. Они плакали, кричали, просили есть. Капитан пообещал, что скоро всех покормят, а пока надо, мол, совершить небольшую прогулку.

И снова начался нескончаемый марш по лесам и полям, снегам и лужам, в морозы, оттепель и пургу. Зима в тот год была очень неровная. На этот раз идти было вроде полегче, темп был не такой беспощадный, а может и попривыкли мы все-таки. Шли как попало, не соблюдая никакого строя. Маленький капитан был отече-

ски мягок, подбадривал близким отдыхом и кормежкой. Но мягкость его постепенно выветривалась и в конце концов он стал даже драться.

Кормили приварком изредка и у кухонь начиналась свалка. Разгоняя свалку, пускал в ход кулаки капитан, дрались повара. Елдаши всех отчаянней штурмовали кухни, вопя и плача, требуя полный "катилук". Схлебав мгновенно свою порцию, лезли снова. Их оттаскивали, повара били черпаками по головам. Один елдаш был прямо-таки бесноватый — он плакал и кричал всех громче, пихался и лез всех остервенелее. И не только у кухонь, но и на марше, причем из сплошных его воплей всех отчетливее выделялась одна и та же назойливая фраза: "Мама троне!" У кухонь же, у костра или когда расклевывали елдаши очередную павшую "монголку", вопли его становились прямо душевраздирающими: "Мама троне, мама троне, ой, мама троне!" Он сгорел во время ночного привала, которые делались во время этого марша еженощно: нагнулся во сне прямо на костер и не чувствовал, как горел. Весь правый бок и правая нога обгорели у него до костей. Утром мы тронулись в поход, а он так и остался умирать возле дотлевающего костра.

Я оказался свидетелем любопытного разговора. Идущая впереди медсестра говорит своему спутнику, пожилому капитану: "Чтобы из-за таких засранцев, да стала бы я рисковать жизнью — ни за что!" На красивом матово-смуглом лице женщины выражение безразличного отвращения. Капитан поддакивает:

— И не надо, и не будешь.

Я отстаю, потом снова догоняю их — и глазам своим не верю: рядом с ними идет мой друг, младший лейтенант Володя. Бью его

ремонно по спине. Володя оборачивается и сгребает меня в объятия. Капитан и женщина смотрят непонимающе-осудительно, такое панибратство между командиром и простым солдатом им не по ну-тру.

Мы идем с Володей рядом, я рассказываю о своем боевом крещении. Володя спрашивает, в какой я нахожусь части. Я отвечаю, что не знаю, знаю только, что 96-ая бригада, а какой полк, батальон, рота — понятия не имею. Командует нами маленький капитан. Володя говорит, что все тут из 96-ой бригады и он тоже. Командует ротой, предлагает идти к нему связным. Я отказываюсь, говорю, что не хочу быть холуем, даже у него. Володя уверяет, что никакого угождения от связного не требуется, бегай знай от него к комбату, передавай распоряжения. Вон мой комбат — показал Володя на капитана.

— А это что за шлюха? — спрашиваю я.

— Санитарка, ППЖ комбата.

Я уже знал, что это значит. Мы с Володей расстались, а на другой день он сообщил мне, что я зачислен в его роту.

Подходил конец и этому маршу. Снова стал слышен фронт. Мы расположились на последний ночлег в лесу. Хотя там были поставлены шалаши, спали мы по-прежнему у костров, так было теплее. Ложились по несколько человек вокруг костра, то придвигаясь к огню, то отодвигаясь во сне, когда здорово припекало.

Подняли рано, была еще ночь. Вышли из лесу и двинулись вдоль опушки. Стрельба слышалась все отчетливее. Начало светать. Над лесом впереди протянулась багровая полоса восхода. Стали попадаться трупы. Они были разной давности, одни посве-

жее, другие — уже изрядно подгнившие, из шинелей торчали кости, зияли провалы глазниц.

Нас обогнала колонна танков, из открытых люков по пояс высунились танкисты, с любопытством на нас поглядывая. Лес оборвался и открылась бескрайняя равнина. Далеко где-то, за горизонтом были немцы. Справа, из молодого леска, изредка постреливали наши пушки. Танки, обогнавшие нас, тоже въехали в этот лесок и развернулись в сторону равнины, выставив орудия.

Вскоре мы остановились. Рассвело совсем. Начинался серый день. Комбат собрал батальон и стал держать речь. Она была такой же бесцветной, как он сам: "Через полчаса начнется артподготовка, продлится пятнадцать минут и мы пойдем в наступление. За Родину, за Сталина, товарищи!" — Не обнаружив никакого энтузиазма на измученных, грязных лицах, он переменял пластинку: "Там станция, ребята! А на ней эшелоны с провизией и шнапсом! Возьмем станцию, все наше будет! Погуляем!" Вот тут ребята оживились. "Возьмем станцию!" — раздались голоса.

Из леса рвануло и пошло грохотать. Пушки палили где-то совсем рядом. Слышно было, как пролетают над головами тяжелые снаряды. Но почему-то никто не стал ждать положенных пятнадцати минут. Тронулись с места сразу, как только началась стрельба. Весь прилесный ~~район~~ край равнины огласился криком: уррра-а-а-а! Всюду, насколько хватало глаз, слева и справа высыпали на равнину серые фигурки. Сразу ответили немцы. Вверху повисли белые гроздья шрапнелей, стали рваться снаряды. Появились первые раненые. Раздались крики: "Мама-а!" Заголосили, запричитали елдаши. Один солдат старательно и быстро полз на брюхе куда-то наискосок. Володя подошел к нему и заорал: "А



ну, встань живо, говнюк!" Тот вскочил и бросился вперед, как оглашенный.

Меня корчил смех и брала жуть. Станным и неправдоподобным казалось все происходящее. Володя велел мне быть при комбате, ждать его распоряжений. Я запротестовал, мне не хотелось оставаться с этим горе-войкой, похожим больше на переодетого в военную форму счетовода, а блядь его я вообще возненавидел. Хотелось быть вместе с Володей, со всеми вместе идти вперед на штурм. Володя успокоил меня, сказав, что долго комбат меня не задержит, отошлет.

Мы трое — комбат, его краля и я — отстали. Оба они поминутно то приседали, то вовсе ложились. Боялись за себя они до омерзения. Оба были бледны, комбат, серой, трупной бледностью, она тоже какой-то мертвячьей — желто-восковой.

Я злился и плевался, нетерпение мое и досада все возрастали. А Володя с бойцами ушли уже далеко.

Огонь, между тем, становился все сильнее. Гуще ложились снаряды и мины, засвистали пули. Вступили в дело немецкие "Ванюши" — шестиствольные минометы. Там, у немцев, нудно, пронзительно, по несколько раз раздавался нарастающий жуткий вой мин, будто неслась волчья стая, а потом они рвались, содрогая землю.

Вдруг я увидел, что комбат крестится часто и мелко. Оба они залегли в воронке. Я демонстративно стоял, даже закурил. Комбат заорал на меня: "Чего выставился, дурак, брось сейчас же сигарку!" Я неохотно сел у края воронки.

— Я пойду вперед, товарищ капитан, — сказал я зло и настойчиво. Он отпустил меня, как мне показалось, с большой охотой.



Я помчался вперед, что было духу. Нетерпение догнать Володю с бойцами и поспеть к решающему штурму подхлестывало меня. Их уже не было видно в серой мгле.

Чем дальше я бежал, тем сильнее становился огонь и чаще попадались убитые. Я старался не смотреть на них. Через нескольких даже перескочил. А на одного, еще живого, едва не наткнулся. Он сидел на снегу и сосредоточенно пытался затолкать кишки обратно в развороченный живот. Они не слушались, вываливались, выскальзывали как змеи.

Я помчался дальше, будто он мог меня догнать. Отбежав метров пятьдесят, оглянулся — он все делал свое безнадежное дело.

Страх мой все возрастал, убитые и этот с вываливающимися кишками, лишили меня остатков мужества. Я подумал: ведь и меня могут убить. И все-таки я бежал дальше.

Справа, на расстоянии трехсот метров, появились танки. Они ползли медленно, как черные жуки... Из стволов их орудий вылетали огненные языки. И вдруг, как в какой-то неправдоподобной, фантастической картинке, у переднего танка слетела башня и он, подпрыгнув как лягушка, остановился. И тут же у второго танка разлетелась вдребезги гусеница и колеса взметнулись на добрые полсотни метров к небу, а приземлившись, покатались по снежному насту, как игрушечные, вприпрыжку. Остальные танки, стреляя, медленно попятились назад. А я все мчался вперед.

Вдруг новое зрелище, страшнее прежнего, заставило меня оцепенеть от ужаса. Четверо бойцов сцепились в последнем смертельном хороводе, застигнутые снарядом. Это были елдаши. Несчастные сбились в кучу, объединенные страхом, и тут же их накрыло. Лица у всех были сожжены и как-то невероятно сжались, будто

спекшиеся яблоки. Глаза лопнули и вылезли от страшного жара. Казалось, что они боролись, и так, борясь, были застигнуты смертью.

Вскоре показались идущие в наступление бойцы, хотя это слово вряд ли уместно тут. Они ползли, перебегали короткими перебежками, снова залегали.

Впереди всех шел Володя — гордо, прямо, ни на вершок не склонив головы, выставив острый клин подбородка. Я замер в восхищении. А еще смел подозревать его в недостатке мужества тогда, в вагоне, на том основании, что он не фанфаронствовал и не выражал восторга от того, что идет на смерть.

Я подскочил к нему и, радостно улыбаясь, зашагал рядом.

— А, Митька! — сказал он спокойно, с достоинством.

— На-ка, возьми. — Он протянул мне треугольник письма, достав его из внутреннего кармана шинели. — Если кокнут, отправишь.

Мы продолжали идти в рост. Но как это было трудно! Огонь бушевал адский, грохот нестерпимый. Кругом трещало, выло, свистело, шипело, грохотало, земля содрогалась непрерывно, рвались снаряды и мины, бесчисленные огненные трассы прочерчивали воздух. Нужно было отчаянно напрягаться, чтобы не плюхнуться на землю, не нагнуться, не втянуть голову в плечи. Я даже досадовал на Володю. Мы все время поднимали лежавших солдат, но они тут же снова залегали, иных уже невозможно было оторвать от земли.

— Сорвется наступление! — с горечью сказал Володя. — Воюй тут с этими сосунками.

Теперь на равнине было удивительно мало идущих, куда только подевались все те, кто с криком ура пошли в наступление.

Между тем, стало смеркаться. Удивительно, как быстро промчался день! На рассвете мы двинулись в наступление, и вот уже окутала равнину спасительная тьма, укрывающая от вражеского огня. Давно ли я шел с комбатом и его ППЖ, давно ли бежал затем, догоняя своих, перепрыгивая через убитых, давно ли шли мы с Володей, поднимая бойцов, и вот уже конец дня. Наступление, начавшееся с восходом, захлебывалось на его исходе.

Мы с лейтенантом собрали кого могли из своих и залегли на краю огромной воронки от авиабомбы. Всего нас было восемнадцать человек — все, что осталось от роты.

Когда полностью стемнело, Володя отправился в тыл узнавать обстановку. Командовать шестнадцатью бойцами он поручил мне. Я пытался организовать охранение, полагая, что в темноте могут подползти немцы, но куда там, за исключением одного бойца никто не хотел и пошевелиться. После небывалого нервного напряжения наступила депрессия, ребята спали мертвым сном. Этот, единственный, был маленький паренек, веселый, подвижной и неустрашимый.

— Пообосрались все, многих вырвало, — сообщил он мне.

— Откуда ты знаешь? — спросил я.

— Делились между собой, да и чутко было, — он тонко бесовито хихикнул.

Я залег за Максима, паренек завладел Дегтяревым.

Еще часа два палили немцы, корежили, рвали, утюжили землю, потом огонь стал слабеть и к полночи совсем прекратился. Шлепались то тут, то там одинокие мины, короткие пулеметные очереди, да доносились из далекой тьмы огненные трассы. Немцы, видно, успокоились, поняв, что наступление не возобновится. Даже ракеты перестали пускать. С разных сторон слышались леденящие душу

крики раненых. Мы с пареньком вглядывались в тьму. Курили по очереди в рукав. Огонь из кресала высекали, накрывшись шинелью.

— Умирают раненые-то, — тоскливым, как эхо, далеким голосом сказал паренек.

Действительно, крики умолкали один за другим. Только что прекратились особенно душераздирающие вопли слева. Паренек предложил увозить раненых в тыл, и, после недолгих колебаний, согласился. Мы перевязали нескольких раненых, отобрав у наших бойцов все перевязочные пакеты. Положив самого тяжелого раненого на санки от пулемета, мы осторожно повезли его. Везти было тяжело. Поле, и так-то неровное, кочкастое, было сплошь перепаханно взрывами. Бедняга, которого мы везли, беспрерывно охал и стонал. Ранен он был в живот. Мы везли наобум в сторону, противоположную фронту. Провезли с полверсты, наткнулись на танк и тут наша филантропическая затея кончилась. Из танка по пояс высунулся пьяный офицер и стал материть нас, потрясая пистолетом. — Трусы, такую вашу мать! С фронта драпаете! А ну, марш назад, и никаких раненых! Санки бросить и марш!

— Храбрый! — сказал паренек. — В танк забрался и воюет с бутылкой.

Я ответил цитатой из Пушкина: "Здесь человека берегут, как на турецкой перестрелке!"

Мы вернулись в воронку и пролежали до утра. Перед рассветом пришел связной от Володи и велел роте отходить назад.

## 3

Новый рубеж находился на берегу речки, за бугром, поросшим лозняком. Володя разделил роту на два отделения. Одно отдал

мне, другое — бойкому пареньку. Мы вырыли себе ячейки в снегу и залегли. Володе вырыли большой глубины окоп, где он поместился вместе со своим ординарцем и старшиной роты, которого я увидел впервые. Во время боя он отсиживался в тылу...

Мы пролежали около месяца в этих ячейках. Если бы мне раньше сказали, что человек может месяц пролежать в снегу, ни разу не погревшись в помещении, не протянув рук к костру, я бы не поверил. Месяц в ветхих, продырявленных пулями шинелях! Тепло была непрерывная дрожь, как при стрельбе на пулемете. От холода все почернели, ходили сгорбившись в три погибели, как старики. Дни тянулись тягостно, как кошмары, под непрерывный аккомпанимент ветра, тоскливый, как волчий вой. А смотришь вперед — тоску нагоняет лоза: гнет ее каждый порыв ветра. Обесчувствовали мальчишки-бойцы, лежали неподвижными колодами, спали не спали, дремали, сжавшись до предела. Заснуть по-настоящему на таком собачьем холоде было невозможно. К тому же, после ржаных сухарей и невыносимо соленой американской колбасы мучила неутолимая жажда и приходилось пить все время ледяную воду. Беспрерывно трусили с котелками к реке, а напившись, лязгали зубами и тряслись еще неистовее. Но и это не все! Еще ели вши. Грызли окаянные поедом! И приходилось поминутно расстегиваться на этаким окаянном ветру, скрестись остервенело. Ой, как холодно, маменька родная! От пуль не прятались, ранения молили как благодати и даже сама смерть не страшила.

Командовать отделением при таком состоянии бойцов было нелегким делом. Вырывать их из дремотного, замороженного состояния, заставлять двигаться /кроме как для получения еды/ по-хорошему было невозможно. И после того, как Володя несколько раз на-



кричал на меня и даже пистолетом поиграл возле носа, я перестал миндальничать. Володя озлобился, стал придирчив, и ко мне почему-то особенно, придирчивее, чем ко второму отделенному командиру, малорослому пареньку. Мое отделение он чаще посылал в боевое охранение и реже за боеприпасами и провиантом /единственная возможность хоть каплю согреться ходьбой и переноской груза/.

Однажды, возвращаясь в свои снежные окопы с грузом боеприпасов, мы наткнулись на землянку и, надеясь согреться, вошли в нее. У раскаленной печурки сидели офицеры. Они нас выгнали, не позволив погреться даже пяти минут. Выгнали на холод из жаркого, сладко-дымного помещения. Ребята мои плакали, умоляли разрешить им хоть эти пять минут, но те были непреклонны.

А позже пришла в наши окопы вода. Пришла ночью, коварно, как вражеский лазутчик. Мы долго ворочались в снежных гнездах, не понимая в бесконечных дремотах, в чем дело, почему стало еще холодней, еще неприятнее. И только утром, вмерзнув в свои ячейки как рыба в лед, осознали нагрянувшую беду. Выдирались силой, шинели стояли как листы железа...

И вот, наконец, — новое наступление, которого страстно ждали и желали, как единственное возможное избавление.

Утром проснулись — лед реки внизу сплошь усыпан серыми шинелями. Ночью бойцы стекались в реку и теперь притаились за береговыми укрытиями в ожидании сигнала.

Мы покинули свои опостылевшие ямы и тоже спустились вниз. Взвод скучился под противоположным берегом, стремясь, как и все, поплотнее прижаться к защитному склону. Скопление людей не осталось незамеченным для противника и он открыл сильный



огонь. Пули были не опасны, зато могло достать осколком, мины и снаряды часто падали в реку. Мины льда не пробивали, но снаряды оставляли черные полынни и всплескивала при взрывах голубая вода. Красивое зрелище — взрывы снарядов на речном льду! И вообще утро было красивое, морозное, солнечное, сверкающее.

Командиры расположились отдельно от бойцов. Там были комбат, теперь уже без своей ППЖ, Володя, старшина наш и еще один ротный, нацмен с желтым круглым лицом. Им было, видно, весело, часто слышался смех, там по очереди пили водку из кружки, наполняемой старшиной. Нам, бойцам, старшина тоже налил по четверти кружки для храбрости. Первые минуты, пока огненная вода растекалась по промерзшим насквозь членам, было очень приятно, но зато потом стало еще холоднее. Мы с завистью поглядывали на наших командиров. Вдруг Володя кричит мне:

— Митька, айда сюда!

Я с радостной поспешностью срываюсь и бегу туда, бросая с легким сердцем своих ребят. Мне наливают сразу пол-кружки. Володя хлопает по спине. Мы снова друзья, от прежней отчужденности не остается и следа, Меня переполняет восторг, я хохочу. Володя неузнаваем, всегдашняя хмурая сдержанность уступила место такой же как у меня откровенной и безудержной радости. Подбородок его от смеха еще клинообразней, прямо бери и вгоняй в поленья. Второй комроты полностью разделяет наши чувства, его лицо расширено смехом до того, что похоже уже не на шар, а на эллипс. Все трое мы непрерывно во все горло хохочем, хохочем над фугасами и минами, над предстоящей атакой, над бледностью комбата и старшины. Мы пьянеем, нам на все наплевать. Снаряды <sup>все</sup> рвутся чаще, вздымая голубые фонтаны, осколки бороздят воздух с коварным, еле слышным шмелиным гудением — проносятся рядом,

пропеллерно вибрируя, а мы хохочем, нам море по колено.

Комбат и старшина не одобряют такого несерьезного отношения к опасности, предрекают нам расплату за этот кошунственный смех. Комбат ворчит, он ужасно трусит, при каждом взрыве втягивает голову в плечи, наклоняется. „Сейчас креститься начнет“, — думаю я с презрением.

Старшина, пожилой дядя, тоже боится, но, по крайней мере, старается скрыть свой страх, вынужденно иногда улыбается вслед за нами. Зато не жалеет водки.

Я наконец-то согреваюсь, и впервые за много дней прекращается эта противная хроническая дрожь. Мы пируем, но меня тревожит совесть, что я пью без своих ребят. Стараюсь не глядеть в их сторону. И чем больше хмелею, тем лучше мне это удается.

Начинается артподготовка. На этот раз она длится дольше, чем в прошлое наступление. Командиры смотрят на часы и в небо, ожидая сигнала трех зеленых ракет.

И вот они взвиваются. Мы срываемся с места и карабкаемся вверх по откосу. Отовсюду слышится "ура-а-а-а!". Нас встречает ураганный огонь. Я сразу же растерял своих бойцов. Просто никого не вижу, каждый сам по себе бежит или ползет, как бог на душу положит. И вообще никого не видно и не потому что я пьян. Я и после замечал эту особенность боя. Только поначалу видны люди, потом они исчезают, поле пустеет. Может быть, если пристально взглядишься и обнаружишь присутствие людей, но в бою для такого разглядывания нет возможности.

Я стараюсь не терять из виду Володю и других командиров, мы все инстинктивно жмемся друг к другу. И дружно залегает у небольшого бугорка, поросшего лозняком, метрах в двухстах от

реки. Должен признаться, что пробежав эти двести метров под шквальным огнем, я начисто растерял весь свой боевой пыл. Мне совсем не хотелось бежать дальше, я снова мерз, снова тело тряслось как в лихорадке, хотя хмель не выветрился из головы.

Мы допили все, что у старшины оставалось, и я побежал дальше. Я бежал под адовым огнем, как и в тот первый раз, совершенно один. Но тогда я фиксировал сознанием все окружающее, теперь бежал вслепую, одурманенный мозг ничего не замечал. Не помню ни убитых, ни живых, только снег под ногами, дьявольский грохот и животный страх, который, как мне кажется, был от хмеля еще сильнее. Не знаю, сколько пробежал, борясь с непреодолимым желанием упасть на землю — видно, изрядное расстояние, потому что, пока бежал, почти полностью отрезвел, согрелся до пота и совершенно выбился из сил. Плюхнулся в снег и лежал не поднимая головы, стараясь как можно плотнее вжаться в землю, вообще сжаться, сократиться. Грохотало так, что казалось, будто само небо разверзлось. Земля беспрерывно сотрясалась от падения разящих тяжестей. Вибрировал воздух, вибрировала душа, не успевая сжиматься и разжиматься от всех этих бесконечных ударов. Нервы, казалось, оголились.

Я заставил себя поднять голову. Впереди, метрах в трехстах, стоял холм, на котором были немцы. Его-то и нужно было взять. Я полежал еще немного, собрался с духом и помчался дальше. Несколько раз падал, отлеживался, снова бежал. Почти у самого холма залег, но тут мимо меня промчалось человек двадцать в белых маскхалатах. Это придало мне храбрости и я побежал вслед за ними. Мы достигли холма и стали карабкаться по склону. Как ни странно, но огонь здесь был слабее, видно, ворвались уже наши во вражескую оборону, подавив часть его огневых точек.

От бойцов в маскхалатах я отстал, выдохся. Взобравшись наверх, увидел, как они швыряли гранаты в дот, а когда подобежал к нему, оттуда выскочил всклокоченный пучеглазый немец с пистолетом в руке. Справившись с мгновенным окаменением испуга, я вскинул автомат и вогнал в немца остаток диска.

Свершив этот подвиг, подошел полюбоваться на дело рук своих. Бедняга был прошит пулями от лба до живота. Вместо левого глаза зияла дыра, правый остекленело пучился в небо. Это был мой первый убитый, и хотя это был немец, фашист, злейший враг, все же это был человек, а убить человека, да еще впервые — дело небезболезненное для души. Однако, бой не то место, где можно долго предаваться угрызениям совести, через мгновение я уже трусил дальше, целиком поглощенный заботой о сохранении своей шкуры от пуль и соколов.

Между тем, на холме стало довольнолюдно, все новые бойцы вскарабкивались по откосу. Огонь хоть и поредел, но непонятно было, оставались ли еще немцы на холме или драпанули. В траншеях валялись убитые. Бойцы уже рыскали по траншеям и дотам в надежде поживиться. Не церемонясь, обыскивали трупы.

Я взобрался на уцелевшую каким-то чудом часть сруба и стал обозревать картину боя. Зрелище было захватывающее. Немцы не зря выбрали этот холм для обороны. Отсюда все было видно, как на ладони. Виднелся и тот лесок, откуда мы шли в первое ~~время~~ наступление, и змеинные извивы реки, откуда начиналось второе. Еще сейчас там копошились люди, выходили на равнину. Правее реки двигались танки, десятка полтора, выбрасывая из стволов длинные огненные полосы. Впереди лежало совершенно ровное белое пространство. А дальше за ним длинной полосой тянулись

села с многочисленными дымами пожаров. Справа пылала станционная водокачка, черный дым от нее уходил высоко в небо.

Я вспомнил про обещанные комбатом эшелоны с провиантом. Под ложечкой здорово засосало. Старшина, щедро угощая водкой, совсем забыл о закуске, а я так радовался наступлению, что отдал свой паек отделению. Спрыгнув со своего наблюдательного пункта, я присоединился к изыскивающим хлеба насущного. Мне повезло — сидят наверху в кузове грузовой машины два хлопца и уписывают за обе щеки что-то похожее на гуталин.

— Ребята, киньте-ка мне коробочку, а то пока бежал, валенки запылились!" Ребята кинули мне коробку, действительно как две капли воды похожую на коробку с ваксой. Там были две круглые плитки шоколада. Я с наслаждением вонзил зубы в одну из плиток. Шоколад был восхитителен, хотя это наверно был эрзац, как почти все у немцев.

Не успел я доестъ шоколад, как раздались крики: "Вперед, вперед!" Надо было бежать дальше, туда, в горящие села. А не хотелось чертовски! Тут я вспомнил о своих ребятах, стал искать. Наткнулся на какого-то хрипатого, красномордого старшину, он остановил меня, заорал: "Что ты шастаешь, резину тянешь! А ну, марш туда!" — и указал на равнину.

Не найдя своих, бросился вниз по отлогому склону. Впереди уже бежали люди, рассыпавшись по снежному полю. Дальше всех была группа в маскхалатах, вслед за которой я карабкался на холм.

И снова бег под градом пуль и осколков, встречный ветер режет лицо, слезы слепят глаза, сердце бешено бьется, душа подобна сжавшемуся от страха зверьку.



И чем ближе к противнику, тем сильнее огонь. Неистовость его кажется невозможной, сверхестественной. Час назад думалось, что сильнее огня быть не может, что это предел, что тот огонь, каким встречали нас немцы во время первого боя, был слабее. Теперь же кажется, что и предыдущий шквал был умеренным в сравнении с этой чудовищной вакханалией свинца и железа.

Но я все бежал, зная, что если упаду, то больше не поднимусь, не хватит духу.

Вдруг впереди грохнуло и страшный удар в правую ногу чуть ниже бедра свалил меня. Ужасная боль, однако, не заглушила страха. Я лежал, уткнувшись носом в снег, обьятый животным ужасом. "Убьет, не уцелеть, ни за что не уцелеть на этой ровной доске", — думал я с отчаянием.

Я поднял голову, чтобы высмотреть какое-нибудь укрытие. Ничего не нашел, но подняв голову в другой раз, увидел впереди, метрах в семидесяти, большой валун. Ползти было больно и неловко, но подгоняемый страхом, я довольно быстро дополз до камня. Все-таки защита.

Но недолго я, так сказать, наслаждался в одиночку этой относительной безопасностью. Кто-то с размаху плюхнулся на землю и стал теснить меня, отчаянно выталкивать из-за укрытия. Я изо всех сил сопротивлялся, и выбился уже из сил, а настырный сосед все жал и жал. Я посулил:

— Если не перестанешь пихаться, гад, тресну автоматом по башке.

Угроза возымела действие, сосед перестал толкаться, но начал икать и причитать: "Ой, маменька, ой, господи!"

— Перестань хныкать, скотина! — снова закричал я. — У меня вон нога ранена и то молчу!



Он перестал причитать, но икота и всхлипывания продолжались. Мне стало жаль его. Этаким необстрелянный сосунок, желторотый птенец, ввергнутый в этот ад! Себя самого я считал чуть ли не ветераном, хотя все мы были одного года рождения.

— Обосрался небось?— спросил я, как мог ласково.

— Ага-а-а-а,— ответил он.

Мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, легонько друг дружку подталкивая. Огонь бушевал с прежней силой, земля ходила ходуном, бесчисленные осколки ударяли в валун, отсекая от него острые крошки и те больно впивались в наши головы и руки. И опять страшный грохот и новый удар. Я теряю сознание.

## 4

Лежу на лугу, покрытом сочной душистой травой. Кругом цветы, кустики, а впереди высокая роща, тополя трепещут серебристыми листьями по ветру. Теплое его дуновение ласкает, дышать необыкновенно легко. Радостный солнечный свет пронизывает все, цветы искрятся в его лучах. Покой и безмятежность в душе несказанные. Кажется, что я не лежу на траве, а парю в воздушном гамаке, и длится это сладкое парение, этот мотылиный лет над цветами, вечность, тысячу лет и никогда не кончится. Эпический покой, покой вечности! Никогда, никогда явь не была такой прекрасной!

И вдруг в эту райскую красоту и безмятежность врывается адский грохот. Сознание вернулось, и этот контраст, воспоминание о только что утраченном рае, невыносимо. И невыносимая боль в обеих ногах. Ощущение, что они вырваны с корнем. В голове звон,

тошнит, все тело деревенеет, делается тяжелым и беспомощным. Мысль, что оторваны обе ноги, доканывает меня окончательно. "Как же я буду жить без ног? Да лучше умереть!" Решаю подняться и поставить голову под пули.

Но это не так-то просто. Несколько раз я отсчитываю назначенные себе секунды и не решаюсь. Перед внутренним взором встает мама. Ее лицо в слезах, как отчаянно она цеплялась за меня при расставании! "А что, если ноги целы, если это только кажется", — думаю я с надеждой. Но взглянуть не осмеливаюсь.

— Эй, друг! — толкаю я соседа. — Глянь на мои ноги, целы ли?

Никакого ответа, Я снова толкаю. Тело поддается, но как-то деревянно. Выглядываю из-под руки и обомлеваю — у соседа разворочен череп и мозги, зловеще синяя, подплывают вместе с кровью на камень. К горлу подступает рвота.

Собравшись с духом, оглядываюсь — ноги целехоньки, только правая выше колена в крови, штаны разорваны. Чувствую огромное облегчение, но желание выжить становится всепоглощающим. С легким сердцем отталкиваю соседа — ему защита уже не нужна.

Не знаю, сколько времени я пролежал не шелохнувшись, вжавшись в землю. Когда стемнело, огонь стал слабее и я нашел силы <sup>при</sup> подняться, кое-как наложить жгут на правую ногу выше раны.

Штыком, снятым с винтовки убитого солдата, закрутил его до отказа. Потом забытье, бред. Ночь, полная кошмаров, тянулась бесконечно долго. Мучили боль и жажда. Я был в сильном жару и одновременно замерзал. Руки были обморожены, пальцы болели и скрючились. Огонь почти прекратился. Впереди алело зарево непотухших пожаров. Позади, метрах в пятидесяти, чернела громада подбитого танка, со слетевшей протянувшейся вперед гусеницей.

По всему полю в разных концах раздавались душераздирающие крики раненых. В забытии сладкие видения чередовались с кошмарными. То мне грезилось, будто я в госпитале. Тепло, бело вокруг. Ласковые, красивые сестрички с заботой и любовью склоняются надо мной. Тело и душа охвачены отрадным теплом и покоем. И вдруг с треском распарываемого брезента, рвется невдалеке мина, возвращая мгновенно из блаженного транса в реальность. И снова озноб, холод, боль и жар, тоска безнадёжности, покинутости, обреченности. А то мерещится убитый немец, стеклянный его глаз, выпученный с немим укором. Он встает, зовет других немцев и они надвигаются на меня все ближе, все неотвратимей. В ужасе я пробуждаюсь, хватаю автомат. Пожары теперь еле-еле мерцают.

Не слышно уже и страшных воплей. Вот так и мне суждено умереть, думаю я безразлично. Жажда становится нестерпимой. Хочу утолить ее снегом, но снега нет. С удивлением отмечаю этот факт. Снег исчез, растаял. Кругом, насколько хватает глаз, все черно, ни одного белого пятнышка.

"Отчего бы это?" — думаю. — Погода ли переменялась, потеплело или это от взрывов, огня, пороховых газов?" Впиваюсь губами в мокрую почву, но на зубах хрустит только земля. Снова впадаю в беспамятство и опять пробуждаюсь. Рвется очередная мина, пролетает одинокая пуля. Жажда, холод, боль, тоска и отчаяние.

Серое беспросветное утро ничего не изменило. Прибавилось только чувство волчьего голода.

Где-то в середине дня прошел мимо молодой солдатик. Шел в тыл бодро, волочил по земле санки от пулемета.

— Прихвати меня, браток, пропадаю тут, в ногу ранен, — попросил я.

— Некогда мне, — ответил солдатик, спокойно так, бесстрастно. — Полежи чуток, придут санитары, подберут.

— А в конце дня, когда стало темнеть, подъехал танк. Танкисты стали буксировать подбитую машину. Я попросил их меня взять. Они ответили то же, что и солдатик: "Некогда, мол, нам, полежи, авось подберут".

— Да хоть на гусеницу, братцы! — просил я.

Не взяли. прицепили танк и укатили, волоча широкую, порожнюю ленту гусеницы...

И наступила вторая ночь. По-прежнему я пребывал в безразличном полубеспамятстве. И вдруг очнулся среди ночи<sup>и</sup> как от толчка. Участь моя предстала передо мной во всей своей безнадежности. И я решил, что настало время действовать, Никто меня не спасет, если сам я не сделаю этого. Собрав все свои силы, я приподнялся на коленях, но тут же упал от острой боли в правой ноге.

Снова попытался подняться и снова упал.

В третий раз удалось удержаться, проковылять немного на коленях, упершись прикладом автомата в землю. Дульную сторону автомата я прижимал к груди запястьями, так как пальцами не владел...

Так полз я весь остаток ночи. Передвину сперва левую ногу, потом подтяну осторожно правую — падаю. Отдыхаю какое-то время, успокаиваю боль, снова встаю на колени. Мешали воронки и трупы, а также мелкие, острые, оледенелые осколки земли, они впивались в колено здоровой ноги, на которую была вся надежда. Через трупы я переползал, огибать их было труднее. Часто

впадал в забытие. Один раз очнулся и обнаружил, что лежу на трупе...

Рассвет застиг меня в двухстах метрах от реки. Странно, но здесь был снег. Я долго ел его и утолил немного жажду.

Вдруг со стрижиным свистом пронеслась мимо стая пуль и умчала за реку бледными огоньками. Вслед за ними, ползущей змеей, прошуршала мина и грохнулась в пятидесяти метрах впереди. Снова шуршанье и взрыв, на этот раз позади. Я обомлел. Вилка! Третью жди на себя. Прилетит неслышно и поминай как звали! Те, что шлепаются на расстоянии, могут шуршать, предупреждая, но своя прилетит обязательно неслышно.

Я влип в землю, не дыша от страха. Лежу минуту, другую — мины все нет. Осмелел, поднял голову. Жду. Не летит. Тогда я пополз. Полз, распластавшись черепахой, как попало, боком, на бробе, волоча раненую ногу, не обращая внимания на боль, замирая от страха и неистового желания жить, уцелеть.

— Выжить, выжить, скорей, скорей! — билась мысль.

Невыносимым казалось погибнуть у самого порога спасения, после всего, что перенес.

Я полз в полнейшей первозданной тишине. И утро было первозданное. Пушистый, чистый снежок, алая зорька за речкой, прозрачная синяя акварель неба, пьянящий воздух — все удесятарило жажду жизни, леденило грудь смертельным страхом, вгоняло в пот.

Третья мина так и не прилетела. Неизвестно, кто тут озорничал, кто потешался над малой, объятый страхом букашкой, — немецкие стрелки или стрелок там, повыше?

Я благополучно дополз до берега и поспешно скатился на речной лед. Нет, видно все-таки не обошлось без помощи того,

Высшего. Прямо передо мной стояла на льду кухня и около нее четверо — повар, два бойца и наш дорогой ротный старшина. Не левее, не правее, а как раз напротив. Как тут не уверовать!

Старшина удивленно вскрикнул, подбежал ко мне. Хотел подтащить ближе к кухне, но я взмолился, силы совсем покинули меня. Старшина налил водки. Невообразимо приятное тепло растекалось по телу. От лапши с мясом я однако отказался, не было сил есть.

Старшина рассказывал: "Младший лейтенант первым, почитай, отвоевался. Пошел вперед, а мы с комбатом за ним глядели. Вдруг ударило возле него, дымом весь окутался. А когда дым рассеялся, видим — поднимается, крутится на одном месте, вроде идет что-то. Подобрал и пошел назад. Когда близко подошел, увидели мы, что руки у него потлокоть нет, один мосол розовый из шинели торчит. А в другой руке оторванную держит. Идет веселый, довольный, рукой оторванной нам помахал, крикнул: "Прощайте, друзья, не поминайте лихом, я отвоевался!" — и пошагал дальше в тыл". В голосе старшины прозвучали нотки зависти.

А капитан погиб через полчаса. Да глупо так! Гранату с собой носил в кармане шинели, для чего — неизвестно. Лежал, елозил на ней, да видно доелозил, что усики у чеки разогнул. Ну вот... — старшина громко проглотил слюну, — так разворотило, что глядеть страшно. Я в это время сюда ходил за водкой, он послал. А то и меня б... — старшина помолчал и прибавил философски: Не судьба, видно".

Было решено везти меня в санбат. Положили на саночки пулеметные. Двое бойцов взяли за веревку и потащили. Это оказалось, тоднако, не легким делом. Лед отсырел, местами вода выступила. Санки не скользили, а врезались в этот кисель. Там,



где было глубоко, ребята несли меня на руках. Двигались медленно, замучились со мной, а везти было далеко. Санбат находился в том леске, откуда начиналось наше первое наступление. И вот попалась на пути лошадка, маленькая монгольская со слипшейся мокрой шерстью. Солдаты ее поймали, привязали веревку от санок к хвосту, больше некуда. Сначала лошадка заупрямилась, а потом как рванет, и я оказался в воде по самые уши. Кое-как ее поймали и отвязали.

Лесок, где находился санбат, был густо заминирован. Поперек тропок стелились тонкие проводки, соединенные с минами, Старшина шел впереди, высматривая их. Меня через проводки переносили. Санбат помещался в большой землянке. Старшина меня сдал и мы простились, Положили меня в сених на нарах, там уже лежало несколько раненых. За столом у маленького окошка сидела женщина и регист<sup>ист</sup>рировала. Это была ШЖ покойного комбата.

Дожидаясь своей очереди, я неотрывно глядел на нее, испытывая противоречивые чувства. Нельзя было не залюбоваться этим лицом, матово-смуглым, с точеным нежным овалом. Едва уловимый налет ~~увядания~~ преждевременного увядания говорил о многих любовях, о том, что это прекрасное лицо ласкано-переласкано и самая его точность казалась любовной шлифовкой. Но губы женщины, особенно нижняя, выражали брезгливое отвращение. То же выражение было и в больших черносморозинных глазах. Когда она глядела на очередного раненого бойца, отвращение это доходило до холодной враждебности, глаза становились прямо-таки ненавидящими. Это был взгляд здорового, красивого существа на увечных и немощных. От этого взгляда становилось на душе стыло и тоскливо, как если бы из теплого помещения распахнули

вдруг двери в сырой и ненастный сумрак.

Когда подошла моя очередь, я хотел рассказать о печальной гибели комбата, но сдержался, зная наверняка, что не только не дрогнет в ней ни малейшая черточка, но еще усилится это презрение.

После регистрации меня внесли в другое помещение. В середине его стояла большая железная печка, раскаленная докрасна. Вдоль стен шли круговые двухярусные нары, до отказа набитые ранеными. Пол тоже сплошь был покрыт телами. Меня положили около самой печки, других мест не было. Я был рад этому. Жар проникал в тело, в кости, выпаривая, выгоняя въевшийся в них холод. Он накатывался волнами. Вливаясь, волна жара растекалась по всему телу, потом следовала волна озноба, потом снова волна сладкого тепла. Я блаженствовал, несмотря на сильную боль, сладко подремывал и все пододвигался к печке, все немог насытиться теплом.

Потом меня унесли в операционную, сделали небольшую операцию — вытащили осколок из бедра и сделали разрезы. У меня оказалось две раны — в бедре и в стопе.

На другой день отправили в полевой госпиталь в город Торопец. Везли сначала лошадьми, потом машинами. Трясло невероятно, зато не холодно, мы были завернуты в теплые ватные конверты. После операции у меня открылось кровотечение и не прекращалось до самого Торопца. Весь конверт был в крови.

Из Торопца отправили в Калинин в товарных вагонах, оборудованных тремя ярусами нар. Мне досталось место на третьем ярусе, под самой крышей, даже сесть невозможно. Дорогу немцы бомбили. Поезд мчался рывками, то неся, как бешеный, то рез-

ко осаживал, как конь на скаку. Рвались бомбы, вагоны качало, подбрасывало. Удивляло, как еще вагоны держались на рельсах, не полетели под откос.

Во время бомбежки стон и крик стояли в вагоне. Я хватался то за наты, чтобы не свалиться, то держал изувеченную ногу, чтобы не било ее о потолок. Трое суток длилась эта езда.

Госпиталь был переполнен. Шло наступление, раненные все прибывали. На койку клали двоих, а то и троих. Вместе со мной лежал боей, раненный в руку, и это облегчало мое положение, он мог ходить, и я в это время свободно вытягивался. Койка стояла в узком коридоре. Без конца ходили санитары с носилками, медперсонал, легкораненные. Покоя не было, да и нервы сдавали.

Наконец наложили гипс и стало известно, что нас отправят в глубокий тыл, в Горький.

---